

Марсель Пруст

В поисках
утраченного
времени

Роман седьмой
«Время, обретенное
вновь»

т е к с т
и к о н т е к с т

А л е т е й я

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)6-44
П 852

Пруст М.

П852 В поисках утраченного времени. Роман седьмой «Время, обретенное вновь»: текст и контекст / сост., пер., коммент. К. З. Акопяна. – СПб.: Алетейя, 2020. – 602 с., ил.

ISBN 978-5-907115-43-9

Настоящее издание представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных текстов. В центре находится великий роман «Время, обретенное вновь» (год публикации 1927), завершающий семитомную эпопею гениального французского писателя Марселя Пруста (1871–1922) «В поисках утраченного времени». При создании русского варианта этого романа переводчик стремился с максимальной точностью и бережностью передать не только содержание и смысл прустовского текста, но и его дух, атмосферу, создаваемую всем произведением в целом, тщательной детализацией и отточенностью авторских описаний, углубленным и тонким анализом психологически сложных ситуаций и состояний отдельных персонажей, неподражаемым синтаксисом и неспешно-проникновенным нарративом, часто обнаруживающей себя иронией, множественными случаями виртуозной игры слов и словами. (Роман разделен переводчиком на разновеликие «главы», названия которым были даны им же.) Текст оснащен объемными и подробнейшими постраничными примечаниями и комментариями. За ними следует развернутое послесловие, как и многие комментарии, представляющее собой не просто пояснения к тексту, а, скорее, размышления по поводу обнаруживаемых в нем проблем.

В завершающий все издание раздел «Приложение» включены не вошедший в основной текст романа небольшой авторский набросок под произвольным названием «Одетта была любовницей Котара» и перевод стихотворения М. Пруста «Я небосвод своих воспоминаний созерцаю часто», основной темой которого является корреспонденция с тематикой эпопеи проблема памяти и воспоминаний. Кроме того, в этот же раздел включены три эссе, посвященные Прусту: два из них – «Марсель Пруст» и «Ложные боги» – принадлежат перу французского философа Алена (псевдоним Эмиля-Огюста Шартье, 1868–1951), а третье – «Пруст» – было написано (на англ. яз.) основоположником театра парадокса С. Беккетом. Все три эссе снабжены подробнейшими комментариями переводчика.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)6-44

ISBN 978-5-907115-43-9



© К. З. Акопян, составление, перевод
и комментарии 2019

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019

КНИГА I. ТЕКСТ¹:

Марсель Пруст. Время, обретенное вновь²

<1. Тансонвиль. Робер и Жильберта.>³ Весь день пребывания в этом жилище — излишне, пожалуй, похожем на загородный домик, казавшемся не более чем местом для послеобеденного отдыха между двумя прогулками или прибежищем на время грозы и принадлежащем к тем домам, любая гостиная которых имеет вид утопающей в зелени небольшой комнаты (в одной из них вас встречают, дабы составить компанию именно вам — по крайней мере, не допуская в нее других, — садовые розы, в другой — сидящие на деревьях птицы, поскольку речь идет о старой драпировке, где каждая роза отделена от своего окружения до такой степени, что, оказавшись она живой, ее можно было бы сорвать, а каждую птичку — посадить в клетку и приручить) и не обнаруживает ничего общего с тем пышным убранством нынешних жилых помещений, где, для того чтобы наполнить видениями часы, проводимые вами в постели, на серебряном фоне вырисовываются изображенные в японском стиле яблони Нормандии, — прошел в моей комнате⁴, из окон которой виднелась роскошная зелень парка и кусты сирени, росшие у входа в него, играющая на солнце сочная листва огромных деревьев, стоявших у воды, и лес Мезеглиза⁵. По правде сказать, я с удовольствием смотрел на это всё только потому, что говорил себе: «Как красиво выглядит окно моей комнаты, заполненное зеленью», но лишь до тех пор, пока не начинал различать колокольню церкви в Комбре⁶, окрашенную — исключительно в силу того, что она находилась достаточно далеко, — в темно-синие тона и контрастировавшую с изумрудным пространством моего окна. В его квадрате не просто возникали очертания колокольни, выделявшиеся на фоне сверкающей зелени благодаря совершенно иному тону цветовой гаммы — настолько темному, что колокольня казалась всего лишь нарисованной, — но она сама оказывалась как бы вписанной в него, придавая таким образом большую наглядность разделяющим нас расстоянию и времени. Когда же я порой покидал свою комнату, то в конце коридора, выйдя на другую сторону, видел напоминавшую пунцовое полотно драпировку небольшого салона, обитого всего лишь простым муслином красного цвета, но настолько ярким, что он, казалось, готов был вспыхнуть от одного прикосновения солнечного луча.

Во время этих прогулок Жильберта⁷ рассказывала мне, что Робер⁸ бросил ее лишь ради того, чтобы приударять за другими женщинами⁹. Его жизнь и в са-

мом деле изобиловала как множеством любовных связей, так и товарищескими отношениями, возникавшими у него с мужчинами, которые любили женщин, и носившими характер совершенно бесполезных усилий, затрачиваемых на ничего не приносящий захват территорий¹⁰, подобных тем, что во многих домах бывают заставлены ни для чего не пригодными вещами. За время моего пребывания в Тансонвиле он несколько раз приезжал туда. Теперешний, он сильно отличался от того, каким я знал его прежде. ¹¹Жизнь не превратила его в толстяка, как г-на де Шарлю¹², и не угомонила его; совсем наоборот, она произвела в нем изменения противоположного характера и, хотя он и вышел в отставку в связи со своей женитьбой, наделила его развязностью офицера-кавалериста, ранее ему не свойственной. По мере того как г-н де Шарлю тучнел, Робер (безусловно, он был моложе, но чувствовалось, что с возрастом все в большей степени приближался к некоему идеалу, чем напоминал некоторых женщин, решительно приносящих свои лица в жертву фигуре, с определенного момента вообще не покидающих Мариенбад и полагающих при этом, что если им и не удастся оставаться молодыми во всех отношениях одновременно, то именно моложавая осанка в наибольшей степени будет способна подменить иные проявления молодости) становился более стройным, более быстрым, демонстрируя тем самым противоположный результат выражения того же самого порока¹³. Эта подвижность, впрочем, была обусловлена разнообразными психологическими причинами, а именно: боязнью быть замеченным и желанием не показать не только эту боязнь, но и некую лихорадочность, рождающуюся из недовольства собой и скуки¹⁴. У него была привычка посещать различного рода зланные места, куда он, предпочитая не быть замеченным ни при входе, ни при выходе и дабы свести к минимуму возможность превратиться в объект недоброжелательных взглядов гипотетических прохожих, врывался, подобно тому как бросаются в атаку¹⁵. Такая, напоминающая порыв шквального ветра, манера передвигаться стала для него привычной. Возможно также, что она в упрощенной форме выражала показную смелость того, кто хочет продемонстрировать, что не испытывает страха и не желает оставлять себе времени на размышления. Для полноты картины следовало бы учитывать становившееся у него все сильнее по мере того, как он старел, желание казаться молодым и нетерпение, характерное для мужчин этого типа — постоянно скучающих, постоянно пресыщенных, — к каковым относятся люди слишком интеллектуальные для той относительно праздной жизни, которую они ведут и в рамках которой их способности не реализуются. Безусловно, сама их праздность может выражаться и в равнодушии. Однако праздность — особенно с тех пор как физические упражнения, даже вне часов, посвященных спорту, стали пользоваться всеобщей благосклонностью¹⁶, — приняла обличье особой формы спортивных занятий, будучи выражена уже отнюдь не посредством равнодушия, а с помощью той лихорадочной живости, которая не оставляет ни времени, ни места для разрастания скуки.

Воспоминание о любви Альбертины¹⁷ оказалось утраченным моей памятью — той самой спонтанной памятью [*la mémoire involontaire*]. Однако, как представляется, существует также спонтанная память конечностей — бледное и бесплодное подражание первой, — которая живет дольше, подобно тому как дольше человека живут некоторые лишенные разума животные или растения. Наши ноги, руки пол-

ны застывших воспоминаний¹⁸. Однажды, достаточно рано расставшись с Жильбертой, я проснулся среди ночи в своей комнате в Тансонвиле и, полусонный, позвал: «Альбертина». Это вовсе не означало, будто я о ней думал, мечтал или принял ее за Жильберту; дело было в том, что реминисценция, возникшая в моей руке, заставила меня искать звонок, который в парижской комнате находился у меня за спиной¹⁹. И, не найдя его, я (полагая, что моя покойная подруга лежала рядом со мной, как она частенько делала вечерами, и что мы заснули вместе, рассчитывая при пробуждении располагать еще каким-то временем до прихода Франсуазы) позвал: «Альбертина», дабы она осторожно потянула шнурок звонка, который я не мог найти.

Став гораздо более сдержанным — по крайней мере, за время этого тягостного периода, — он²⁰ почти перестал проявлять какие-либо чувства по отношению к своим друзьям, например ко мне. И, наоборот, в общении с Жильбертой выражение его чувств обретало комические формы, что производило неприятное впечатление. Это не означало, что на самом деле Жильберта была ему безразлична. Нет, Робер любил ее. Но он все время ей лгал, и если не сама суть обманов, то его двуличие всегда было очевидным. Выпутываться же из подобных ситуаций он считал возможным лишь с помощью преувеличения до вызывающих смех масштабов той грусти, которую испытывал на самом деле, чем доставлял огорчения Жильберте. Однажды, приехав в Тансонвиль, он предупредил, что из-за деловой встречи с неким господином, который проживал в здешних местах, но, по его словам, должен был ждать его в Париже, ему придется уехать завтра же утром; однако тот, встреченный на званном вечере в одном доме близ Комбре, невольно разоблачил его ложь, — сам же Робер не удосужился предупредить его, что это была ложь, — сказав, что приехал в родные края на месяц, дабы отдохнуть, и не собирается возвращаться в Париж. Увидав меланхоличную и гордую улыбку Жильберты, Робер покраснел, пустился в объяснения, оскорбил этого господина, обозвав его бестактным человеком, возвратился домой раньше своей жены и велел передать ей полную отчаяния записку, в которой говорилось, что придумал он эту ложь с тем, чтобы не доставлять ей огорчений и чтобы, увидев его уезжающим — по причине, которую он не мог ей открыть, — она не подумала бы, что он ее не любит (хотя сказанное в записке и воспринималось как ложь, в общем-то это все было правдой), а потом распорядился узнать, можно ли ему зайти к ней, и у нее — частично действительно испытывая печаль, частично под влиянием нервозности, обусловленной самой жизнью, частично в силу с каждым днем становившегося все более смелым притворства, — орошая себя холодной влагой, он говорил о своей близкой смерти и несколько раз падал на пол, будто бы от того, что ему становилось дурно. Жильберта, каждый раз подозревая его в обмане, не понимала, в какой мере она должна была верить ему, хотя, по большому счету, была любима им, и беспокоилась по поводу его предчувствия своей скорой кончины, полагая, что у него была какая-то болезнь, о которой она не знала, а поэтому не осмеливалась ему перечить и требовать от него отказа от подобных поездок.

Надо сказать, что в столь же малой степени я понимал, почему повсюду, где бывал Сен-Лу, — в Париже, в Тансонвиле — Мореля²¹ принимали, как своего²², равно как и Бергота²³. Морель совершенно очаровательно имитировал Бергота. В конечном итоге его даже не приходилось просить подражать последнему. Подобно ис-

теричным людям, которых совсем не обязательно усыплять, дабы они перевоплотились в какого-либо персонажа, он сам, легко и органично, входил в образ того или иного человека.

Франсуаза, уже знакомая со всем тем, что господин де Шарлю сделал для Жюппена²⁴ и что Сен-Лу сделал для Мореля, не приходила на этом основании к выводу о наличии какой-то особой черты, как видно, проявлявшейся в некоторых поколениях Германтов²⁵; скорее — поскольку Легранден²⁶ также очень помогал Теодору²⁷ — она, будучи личностью необыкновенно нравственной и преисполненной различного рода предрассудков, думала, что дело здесь в некоем обычае, который вызывал к себе уважение в силу присущего ему всеобщего характера. О молодом же человеке, будь то Морель либо Теодор, она всегда говорила: «Он нашел себе господина, который постоянно им интересуется и очень ему помогает». А поскольку в подобных случаях покровителями являются те, кто любят, страдают и прощают, Франсуаза, сравнивая их с теми молодыми, которых они развращали, не колеблясь, признавала их роль прекрасной, а их самих — людьми «с добрым сердцем». Она, не колеблясь, бранила Теодора, который подшучивал над Легранденом, хотя, казалось, у нее не могло быть сомнений по поводу природы их отношений, ибо она добавляла: «Тогда малыш понял, что в данном случае следовало бы внести что-то и от себя, и сказал: “Возьмите меня с собой, я буду любить вас и ухаживать за вами”; а ведь, клянусь честью, у этого господина такое сердце, что Теодор, конечно, может быть уверен: находишь он рядом с ним, то, вероятнее всего, получил бы больше, чем того заслуживает, ибо он без царя в голове, этот же господин так добр, что я частенько говорю Жанетте (невесте Теодора): “Малышка, если вы когда-нибудь окажетесь в затруднительном положении, обратитесь к этому господину. Он скорее сам ляжет на полу, а свою постель уступит вам. Слишком сильно он полюбил малыша (Теодора), чтобы выставить его за дверь. Конечно же, он никогда не бросит его”»²⁸.

Ради приличия я спросил фамилию Теодора, жившего теперь на юге, у своей сестры. «Так это он написал мне о моей статье в “Фигаро”²⁹!», — воскликнул я, узнав, что его фамилия Санилон³⁰.

Точно так же она³¹ в большей степени уважала Сен-Лу, чем Мореля, полагая, что несмотря на все выходки малыша (Мореля) маркиз никогда не бросил бы его в трудной ситуации, ибо у этого человека было слишком доброе сердце, — разве только если у него самого возникли бы серьезные неприятности.

Он³² настаивал на том, чтобы я остался в Тансонвиле, и однажды даже проговорился — по-видимому, отнюдь не стремясь доставить мне этим удовольствие, — признав, что мой приезд стал столь великой радостью для его жены, что та — в чем она признавалась ему сама — была охвачена ею на протяжении всего вечера, того самого вечера, в начале которого она испытывала особенно сильную грусть; я же, приехав без предупреждения, чудесным образом спас ее от отчаяния, «а возможно, — добавил он, — и от чего-то худшего». Он попросил меня постараться убедить ее в том, что любит ее, и при этом рассказывал мне, что женщину, также им любимую, любит меньше, чем ее, и вскоре собирается с нею порвать. «Тем не менее, — добавил он с таким самодовольством и со столь сильным желанием исповедаться, что, как мне показалось, с его губ вот-вот, подобно очередному номеру в лотерее, могло “сорваться” имя Чарли³³, причем произошло бы это отнюдь не по воле самого Робе-

ра, — мне было, чем гордиться. Эта женщина, которая представила мне столько доказательств своей нежности и которую я собираюсь пожертвовать ради Жильберты, никогда не обращала внимания ни на одного мужчину; сама она считала, что не способна влюбиться. Я был первым. И я знал, с какой решительностью она отказалась от любых контактов, а поэтому, получив восхитительное письмо, в котором она мне писала, что счастье для нее было возможно только со мной, ошарашенный, я не мог опомниться. Совершенно очевидно, что мне было от чего потерять голову, если бы мысль о возможности увидеть бедную малышку Жильберту в слезах не была для меня непереносимой. Не находишь ли ты, что в ней есть что-то от Рашели³⁴?» — спросил он меня. Я и в самом деле был поражен каким-то неясным сходством между ними, сходством, которое можно было обнаружить при большом желании. Основу его, возможно, составляло действительно имевшее место некоторое подобие (обусловленное еврейским происхождением обеих, довольно слабо, но все же выраженным в облике Жильберты) некоторых черт, по причине чего Робер, когда его семейство пожелало, чтобы он женился, почувствовал — правда, при сохранении равных имущественных условий — большее влечение к Жильберте. Оно, это сходство, было обусловлено также тем, что Жильберта, восхищенная фотографиями Рашели, даже имени которой она не знала, старалась понравиться Роберу, позаимствовав некоторые особенности ее внешности, столь милые сердцу актрисы, — такие, например, как неизменные красные банты в прическе, ленты черного бархата на предплечьях или окрашенные в каштановый цвет волосы. Позже, почувствовав, что ее горести отрицательно сказываются на том, как выглядит ее лицо, она попыталась избавить его от их следов. Однако порой увлекалась этим сверх всякой меры. Так, однажды вечером, когда должен был приехать Робер, дабы провести сутки в Тансонвиле, я был до такой степени шокирован, увидев ее вышедшей к столу, — она удивительным образом отличалась от той, какой бывала в подобных ситуациях не только в прежние времена, но даже теперь, — что, пораженный, застыл, как если бы передо мной предстала какая-нибудь актриса вроде Теодоры³⁵. Я почувствовал, что, пытаясь в порыве любопытства и вопреки своей воле понять, что же в ней так изменилось, излишне пристально разглядываю ее. Впрочем, вскоре, когда она высморгалась, мое любопытство — несмотря на все предосторожности, соблюдавшиеся ею при этом, — было удовлетворено. По разноцветным пятнам, оставшимся на платке и придавшим ему вид пестрой палитры, я понял, что она была сильно накрашена. Именно это делало ее рот, которым она пыталась изобразить улыбку, полагая, что та ей очень идет, кроваво-красным (хотя момент прибытия поезда приближался, Жильберта не была уверена, действительно ли ее муж приедет, или же всего лишь пришлет ей одну из тех телеграмм, типичный образец которых был остроумно сформулирован г-ном де Германтом: «НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕХАТЬ, ЛЖИВОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ВЫШЛЮ ПОЗЖЕ»), а также бледнило ее щеки, покрытые испариной, ставшей от румян фиолетовой, и было причиной возникновения у нее под глазами темных кругов.

«Ах! видишь ли, — выговаривал он мне голосом алкоголика, в котором слышались актерские интонации, и с деланно-ласковым видом, сильно контрастировавшим с его прежней непреднамеренной нежностью, — я ничего не пожалел бы для того, чтобы Жильберта была счастлива! Ты даже не можешь себе представить, сколько она сделала для меня.» Поскольку ему льстило то, что Жильберта его люби-

ла, — хотя он при этом не осмеливался признаться, что сам любил Чарли, — самым неприятным во всем этом был его эгоизм, придававший любви, предположительно испытываемой к нему скрипачом (в то же время Чарли с каждым днем требовал у него все больше денег), особые черты, которые Сен-Лу прекрасно умел, основываясь на разнообразных мелочах, преувеличивать или даже придумывать. И, оставив Жильберту под моей опекой, он возвращался в Париж.

Однажды у меня появилась возможность — здесь я забегаю немного вперед, поскольку пока еще продолжаю находиться в Тансонвиле, — наблюдать за его поведением в обществе, причем издали, когда его речь, несмотря ни на что живая и чарующая, позволила мне как бы вновь обрести прошлое³⁶, и я был поражен тем, насколько он изменился. Он все больше походил на свою мать, от которой унаследовал высокомерную и доведенную той до совершенства манеру держаться, не утрачивая при этом гибкости в движениях; у него же, благодаря его превосходному воспитанию, эта манера проявлялась в несколько утрированной и как бы застывшей форме, а характерная для Германтов пронизательность взгляда придавала ему вид человека, производящего осмотр тех мест, по которым он проходил; но делал он это, пожалуй, бессознательно, будто по привычке, в силу инстинктивно присущей ему потребности. Цвет его волос, который напоминал обретшее плоть солнечное сияние сверкающего золотом дня, в наибольшей степени среди всех Германтов подходивший именно ему и даже в состоянии покоя, казалось, наделявший его на удивление причудливым оперением, придавал ему до такой степени уникальный и свидетельствовавший о его особой значимости вид, что могло возникнуть желание заполучить его в качестве экспоната в какую-нибудь орнитологическую коллекцию; более того, в то время как это превратившееся в птицу сияние приходило в движение, начинало перемещаться, — я, например, наблюдал, как Робер де Сен-Лу входил в зал, где устраивался званый ужин, на котором присутствовал и я, — его высоко поднятая голова оказывалась столь старательно и с таким достоинством украшена хохолком, выступавшим на фоне золотого венчика немного поредевших волос, а движения шеи были настолько более мягкими, более надменными и более элегантными, чем те, что присущи большинству представителей человеческого рода, что под влиянием любопытства и восхищения — наполовину светского, наполовину зоологического, — которые он у вас вызывал, возникало желание задать себе вопрос: находились ли вы в Сен-Жерменском предместье, или в Ботаническом саду, и видели ли вы представительного господина, пересекающего гостиную, или прогуливающуюся в клетке птицу? Впрочем, описанное возвращение к ускользающей³⁷ элегантности Германтов — острый клюв, колкий взгляд — в данный момент было поставлено на службу его новому пороку, который прикрывался ею, дабы тем самым придать самому себе пристойный вид. И чем больше он этим пользовался, тем больше походил на тех, кого Бальзак называл «тетками»³⁸. Добавляя же сюда толику воображения, можно было убедиться, что использование в рамках подобного истолкования птичьего щебета становилось уместным ничуть не меньше, чем использование оперения³⁹. Он начинал произносить фразы, которые, по его мнению, могли иметь хождение в Великом веке⁴⁰, подражая тем самым манерам Германтов. Однако нечто неопределимое одновременно превращало их в манеры г-на де Шарлю. «Я покину тебя на минутку, — сказал он мне на званом ужине, когда г-жа де Марсант⁴¹ немного отошла. — Пойду чуточку приволочнусь за своей мамашей.»

Что касается любви, о которой он мне не переставая твердил, то таковой, как ни странно, являлась совсем не та, что он испытывал по отношению к Чарли, хотя она и была единственной, имевшей для него значение. Каков бы ни был тот тип любви, который испытывает мужчина, окружающие всегда неверно судят о количестве тех, с кем у него установились связи, поскольку, с одной стороны, они принимают дружбу за любовные отношения, что является ошибкой в сторону увеличения общего числа последних, с другой же — полагают, что наличие ставшей всем известной связи само по себе исключает возможность еще одной, а это уже представляет собой ошибку иного рода. Два человека, назвав два разных имени, могут сказать: «Это любовница господина X, я ее знаю», и при этом ни один из них не будет неправ. Любимая женщина редко удовлетворяет все наши потребности, и ее обманывают с той, которую не любят. Что же касается типа любви, унаследованного Сен-Лу от г-на де Шарлю, то мужу, который к нему склонен, обычно удается сделать свою жену счастливой⁴². И это правило — Германтам удавалось находить способ, позволявший сделать из него исключение, — носит всеобщий характер, потому что имевшие подобную склонность старались заставить всех поверить, что они, напротив, испытывают пристрастие к женскому полу. Ради этого они демонстративно появлялись то с одной женщиной, то с другой, приводя в отчаяние собственную жену. Курвуазье вели себя в этом смысле более благоразумно. Молодой виконт де Курвуазье⁴³ считал, что на всей земле с самого сотворения мира он такой один; причем существует он якобы специально для того, чтобы его домогался какой-нибудь представитель его же пола. Полагая, что данная склонность досталась ему от дьявола, он боролся с нею, женившись на восхитительной женщине и наделав ей детей. Однако позже один из кузенов просветил его, объяснив, что такая склонность довольно распространена, и, по доброте своей, повел его в те места, где тот мог бы ее удовлетворить. Благодаря этому господин де Курвуазье полюбил свою жену еще больше, удвоил свое усердие на ниве плодородия, и о них стали говорить, как о лучшей семейной паре в Париже. Сказать нечто подобное о чете Сен-Лу не было никакой возможности, поскольку Робер, вместо того чтобы довольствоваться связями противоположного рода, заставлял свою жену умирать от ревности, держа — причем не получая от этого особого удовольствия — любовниц.

Возможно, что Морель, будучи чрезвычайно смуглым, нуждался в Сен-Лу, подобно тому как тень нуждается в солнечном свете. И нам очень легко представить себе присутствие в лоне столь древнего семейства⁴⁴ некоего господина — златокудрого, умного, наделенного исключительным обаянием и скрывающего в потаенных глубинах души не известную окружающим тайную тягу к неграм.

Впрочем, Робер никогда не допускал бесед, касавшихся любви того типа, к которому относилась предпочитаемая им. И если я произносил хотя бы одно слово по этому поводу, он отвечал со столь глубоким безразличием, что даже ронял свой монокль: «Ах! я не знаю, я и не подозревал о существовании подобных вещей. Если ты желаешь получить информацию об этом, *мой дорогой*, то я посоветовал бы тебе обратиться к другим. Я солдат, и этим все сказано. Эти вещи оставляют меня безразличным в той же мере, в какой я с волнением слежу за балканской войной. Прежде тебя интересовала этимология сражений. Я тогда говорил тебе, что следует пересмотреть ряд типичных битв, особенно тех, что протекали в различных условиях, —

например, сражение при Ульме⁴⁵, представляющее собой масштабную попытку флангового окружения. Смотри: насколько специфическими ни были бы балканские войны, Люлле-Бургас — это вновь Ульм, вновь фланговое окружение⁴⁶. Вот темы, на которые ты можешь беседовать со мной. Что же касается того, на что ты намекаешь, то я знаю об этом столько же, сколько о санскрите».

Жильберта же, в отличие от Робера, в беседах, завязывавшихся у нас во время очередного его отъезда, никогда не противилась обсуждению тем, к которым он относился со столь явным пренебрежением. Безусловно, она не связывала их со своим мужем, ибо не знала всего либо притворялась незнающей. Но охотно распространялась по всем подобного рода вопросам, когда это касалось других, — то ли потому, что видела в этом косвенное оправдание Робера, то ли из-за того, что тот, разрываясь подобно своему дяде⁴⁷ между стремлением сохранять строгое молчание по данному поводу и потребностью пооткровеничить и позлословить на эту тему, уже в достаточной мере просветил ее. Наряду с другими не был избавлен от того, чтобы стать предметом такого разговора, и г-н де Шарлю; существенным же, без сомнения, здесь было то, что Робер, ничего не рассказывая Жильберте о Чарли, в беседе с ней не мог удержаться, чтобы каким-либо образом не повторить поведенное ему скрипачом. Тем самым тот преследовал своей ненавистью бывшего благодетеля⁴⁸. Эти беседы, к которым Жильберта относилась с благосклонностью, предоставляли мне возможность, обратившись к параллельной в известном смысле теме, спросить у нее, были ли те же наклонности присущи Альбертине, чье имя некогда я услышал в первый раз именно от нее⁴⁹. Жильберта не смогла просветить меня в этом вопросе. По правде же сказать, он давно перестал представлять для меня интерес. Но я, подобно старцу, утратившему память и время от времени пытающемуся вывести у других новости о своем сыне, которого он потерял, машинально продолжал наводить справки по этому поводу.

Что любопытно, но о чем я не могу распространяться, так это то, до какой степени в то время все те женщины, которых любила Альбертина, — те, кто могли бы заставить ее сделать всё, чего только они ни пожелали бы, — не состоя в дружбе со мной, просили, вымаливали, я бы даже сказал, выклянчивали мое согласие на установление хотя бы каких-нибудь отношений с ними. Больше не существовало ни малейшей необходимости предлагать деньги мадам Бонтан, дабы она отослала Альбертину обратно ко мне⁵⁰. Этот жизненный поворот, совершившийся тогда, когда он не мог помочь ничему, глубоко опечалил меня, и отнюдь не из-за Альбертины, — будь она приведена ко мне, даже не из Турени⁵¹, а с того света, я принял бы ее без всякого удовольствия, — а из-за той молодой женщины, которую я любил, но увидеть которую уже не мог. Я признавался себе, что — умерла ли она, разлюбил ли я ее — все те, кто могли бы приблизить меня к ней, пали бы в моих глазах. Пока же я тщетно пробовал воздействовать на них, не будучи излечен тем опытом, который должен был бы меня научить (если только он вообще когда-нибудь чему-нибудь учит), что любовь — это печальная участь, подобная тем, о которых говорится в сказках, и против нее ничего нельзя предпринять вплоть до тех пор, пока не прекратится действие колдовских чар⁵².

«Именно та книга, которую я держу в руках, и говорит об этом», — сказала она⁵³ мне. (О той же таинственности говорил и я Роберу: «Мы поняли бы друг друга».

При этом он заявил, что ничего не помнит и что в любом случае все это не несет в себе особого смысла⁵⁴.)

«Дабы подняться до уровня моих дядюшек, я корплю над “Златоокой девушкой”⁵⁵ старины Бальзака. Но ведь это абсурдно, неправдоподобно, это какое-то наваждение, завораживающее своей красотой. Впрочем, возможно, женщина и может находиться под такого рода наблюдением, если оно осуществляется другой женщиной, но никогда — мужчиной.» «Вы заблуждаетесь: я когда-то знал такую женщину; любивший ее мужчина дошел до того, что насильно лишил ее свободы; она никогда не могла встречаться ни с кем, а выходила из дому только в сопровождении преданных слуг.»⁵⁶ «Ну и ну, это должно было приводить вас, при вашей доброте, в ужас. Мы как раз говорили с Робером, что вы должны были бы жениться. Ваша жена излечила бы вас, а вы составили бы ее счастье.» «Нет-нет, у меня для этого слишком дурной характер.» «С чего вы взяли?» «Я вас уверяю! Впрочем, я был помолвлен, но никак не мог принять решение и жениться на ней (в конце концов она сама отказалась выходить за меня — из-за моего характера, нерешительного и вздорного).» И действительно, теперь, когда я смотрел на свою историю с Альбертиной со стороны, я представлял ее себе именно в столь упрощенном виде⁵⁷.

Поднимаясь в свою комнату, я с грустью думал о том, что мне так и не удалось вновь увидеть церковь в Комбре, которая, казалось, ждала меня среди листвы, видневшейся в окрашенном в фиолетовые тона окне. Я говорил себе: «Тем хуже, отложим это до будущего года, если только я не умру раньше», не предвидя в этом отношении иного препятствия, кроме своей смерти, и не допуская при этом ничего подобного для церкви, которая, как мне казалось, должна была существовать еще долгое время после моей кончины, точно так же как она существовала задолго до моего рождения⁵⁸.

Тем не менее, беседуя однажды с Жильбертой об Альбертине, я спросил ее, любила ли та женщин. «О! вовсе нет.» «Но вы как-то говорили, что она отличалась дурным поведением.» «Я это говорила? Вы, должно быть, ошибаетесь. Во всяком случае, если я нечто подобное и говорила, то вы что-то перепутали. Совсем наоборот, я имела в виду ее интрижки с молодыми людьми. Впрочем, в том возрасте они, вероятнее всего, не заходили слишком далеко.» Говорила ли это Жильберта, дабы скрыть от меня, что она сама, по словам Альбертины, любила женщин и даже делала соответствующие предложения Альбертине? Или же (поскольку другие часто осведомлены о нашей жизни гораздо в большей степени, чем полагаем мы сами) она знала, что я любил и ревновал Альбертину, и (вероятно, окружающие имеют возможность гораздо в большей степени и в больших подробностях, чем нам кажется, быть осведомленными на наш счет; однако в результате они подчас заходят излишне далеко в своих выводах и совершают ошибку, выдвигая явно преувеличенные предположения, в то время как мы полагаем, что их возможная ошибка будет обусловлена полным отсутствием у них каких-либо предположений), воображая, что я все еще продолжал ее любить, по доброте своей пыталась накинуть мне на глаза ту самую повязку для ревнивцев, которая всегда имеется под рукой? В любом случае слова Жильберты, начиная с упомянутого ею ранее «дурного поведения» и вплоть до нынешних заверений о добропорядочности жизни и нравов ее подруги, имели смысл, противоположный утверждению Альбертины, в конце концов почти признавшей

существование не совсем обычных отношений [demi-rapports] с Жильбертой. Я был удивлен как признанием Альбертины, так и тем, что мне говорила Андрэ, ибо изначально, еще не будучи знаком с их небольшой группкой, я уже предполагал, что она порочна, но отдавал себе отчет в возможной ошибочности своих предположений, что часто случается, когда встречаешь порядочную и почти не сведущую в любовных делах девушку в среде, которую неправомерно считал в высшей степени развращенной. Затем, правда, я вновь проделал тот же путь, но уже в противоположном направлении, признав истинными уже мои изначальные предположения. Однако, вполне возможно, что Альбертина говорила мне это из желания произвести впечатление девушки более опытной, чем она была на самом деле, и ослепить меня в Париже обаянием своей порочности, подобно тому как в первый раз добилась того же в Бальбеке, но тогда — обаянием своей добродетельности. И, наконец, попросту для того, чтобы, слушая, как я говорил с ней о женщинах, любящих женщин, не производить впечатление не разбирающейся в предмете разговора, подобно тому как многие делают понимающий вид, когда речь заходит о Фурье или Тобольске⁵⁹, на самом деле не зная о них ничего. Возможно, наблюдая вблизи подругу м-ль де Вентей и Андрэ, которые считали, что Альбертина не была «особого склада»⁶⁰, и в силу этого оказавшись отделенной от них чем-то вроде непроницаемой перегородки, она пыталась разобраться во всем — так женщина, вышедшая замуж за литератора, старается приобщиться к культуре, — но только для того, чтобы понравиться мне и продемонстрировать свою способность отвечать на мои вопросы; однако это продолжалось лишь до того дня, когда она, поняв, что те вдохновлялись ревностью, дала задний ход. Если только Жильберта не обманывала меня. И мне пришла в голову мысль, что Робер и женился-то на ней ради того, чтобы, флиртуя и ведя разговор в интересовавшем его направлении, узнать, питала ли она отвращение к женщинам⁶¹, но при этом все-таки рассчитывал на те удовольствия, получить которые должен был отнюдь не у себя дома, а совсем в другом месте. Ни одно из приведенных предположений не было абсурдным, ибо у женщин, подобных дочери Одетты или юным девушкам из той самой группки, порой обнаруживаются такие различия, столь пестрая совокупность противоположных склонностей, что, даже не проявляясь одновременно, они легко способствуют превращению связи с женщиной в великую любовь к мужчине, и происходит все это настолько гладко, что определить, какая склонность является подлинной и доминирующей, оказывается крайне сложно.

Мне не хотелось просить у Жильберты «Златооую девушку», поскольку она как раз ее читала. Однако в тот последний вечер, который я проводил у нее, она сама предложила мне для чтения перед сном книгу, произведшую на меня довольно живое, хотя и неоднозначное впечатление, оказавшееся, впрочем, недолговечным. Это был том неизданного дневника Гонкуров⁶².

И когда, прежде чем погасить свечу, я прочел приводимый ниже отрывок, отсутствие у меня способностей к писательству, некогда, еще во время прогулки по направлению к Германтам⁶³, мной предчувствовавшееся и на протяжении всего моего пребывания здесь подтверждавшееся, — ведь это был мой последний вечер, вечер накануне отъезда, когда происходит постепенное ослабление полностью исчезающих привычек и предпринимаются попытки судить самого себя, — показалось мне чем-то, не вызывающим особого сожаления, будто литература и не открывала глу-

бокой истины; в то же время мне стало грустно от того, что она, литература, оказалась не тем, что я о ней думал. С другой стороны, болезненное состояние, ставшее причиной моего заточения в лечебницу, показалось мне вызывающим сожаление в меньшей степени, коль скоро те прекрасные вещи, о которых говорится в книгах, не были прекраснее того, что видел я в реальности. Но, в силу странного противоречия, именно сейчас, когда речь о них зашла в этой книге, у меня возникло желание увидеть их. Вот несколько страниц, прочитанных мной до того момента, как веки мои смежились от усталости⁶⁴.

<2. «“Дневник” Гонкура».> «Позавчера заваливается сюда собравшийся вести меня к себе обедать Вердюрен, бывший критик “Обозрения”⁶⁵, автор той самой книги об Уистлере⁶⁶, в которой ему, влюбленному во всевозможные тонкости, во всяческие *красивости*⁶⁷ живописного произведения — Вердюрен именно таков, — зачастую с исключительной тактичностью удается описать как стиль художника, американца по происхождению, так и мастерское использование тем всех оттенков цветовой гаммы. В то время как я одеваюсь, чтобы следовать за ним, он начинает мне излагать целую повесть, временами представляющую собой прерываемое словами, произносимыми испуганным шепотом⁶⁸, признание о его принятом сразу же после женитьбы на фромантеновской “Мадлен”⁶⁹ решении отказаться что-либо писать, причиной чего могло стать его пристрастие к морфию, а результатом, по его же словам, — незнание большинством завсегдатаев салона его жены того, писал ли когда-нибудь вообще ее муж; они говорили ему о Шарле Блане⁷⁰, Сен-Викторе⁷¹, Сент-Бёве⁷², Бюрти⁷³ как об индивидах, стоявших, по их мнению, гораздо выше него. “Послушайте, Гонкур, ведь вы прекрасно знаете — Готье тоже об этом знал, — что мои «Салоны» — нечто совершенно иное, чем эти жалкие «Старые мастера»⁷⁴, в семействе моей жены признанные шедевром.” Затем, когда последние лучи света, который, умирая в сумерках, окутывающих башни Трокадеро, делает их удивительно похожими на такие же башни, только покрытые смородиновым желе, украшавшим пирожные из далекого прошлого⁷⁵, беседа продолжается в экипаже, что должен доставить нас на набережную Конти, где находится их особняк, выдаваемый его владельцем за бывшую резиденцию венецианских послов⁷⁶, а о будто бы имеющейся в нем курительной комнате Вердюрен рассказывает мне как о зале, перенесенном сюда в нетронутom виде — совсем как в “Тысяче и одной ночи”⁷⁷ — из какого-то знаменитого *palazzo*, чье название я постоянно забываю, из *palazzo* с колющим, что служил гостям местом для стряхивания сигарного пепла и на чьей маргелле⁷⁸ была изображена коронация Богородицы, признаваемая Вердюреном безусловно красивейшей работой Сансовино⁷⁹. Сказать по правде, когда мы погружаемся в мрачную неопределенность лунного света, действительно напоминающего тот, каким классическая живопись заливает Венецию, а вырисовывающийся на его фоне силуэт купола Института⁸⁰ наводит на мысли о Salute⁸¹ в картинах Гварди⁸², у меня возникает слабая иллюзия, будто я нахожусь на берегу Большого канала⁸³. Эта иллюзия поддерживается и конструкцией особняка, со второго этажа которого не видно набережной, и обращенными в прошлое замечаниями хозяина дома, утверждающего, что название улицы дю Бак — черт меня побери, если я когда-нибудь задумывался об этом, — будто бы происходит от парома⁸⁴, на котором мирамионки⁸⁵,

богомолки тех времен, якобы добирались на службы в Собор Парижской Богоматери. Весь этот квартал⁸⁶, по улочкам которого, в то время когда здесь проживала моя тетьа де Курмон⁸⁷, слонялось мое детство и который я *полюбил вновь*⁸⁸, обнаружив практически соприкасающуюся с особняком Вердюренов вывеску “*Малого Дюнкерка*”⁸⁹ — одной из редких лавочек, сохранившихся, как оказалось, не только на заключенных в виньетки карандашных зарисовках и в легких мазках кисти Габриэля де Сент-Обена⁹⁰; в минуты праздности сюда заходил посидеть любопытствующий XVIII век, дабы здесь же заключать договора о закупке французских и иностранных красотей “и всего наинového, произведенного различными искусствами”, как говорится в одной накладной того же “*Малого Дюнкерка*”, накладной, оттисками которой обладаем, как я полагаю, только мы вдвоем — Вердюрен и я и которая представляет собой подлинный шедевр, один из тех эфемерных⁹¹ шедевров, что относятся к разряду украшенных орнаментом документов, использовавшихся в царствование Людовика XV в качестве счетов, — со своим заголовком, изображающим волнующееся и переполненное судами море, точнее морские волны, напоминающие иллюстрации к изданной “Откупщиками” “Устрице и двум прохожим”⁹². Хозяйка дома, собираясь усадить меня рядом с собой, любезно объясняет мне, что украсила свой стол не просто японскими хризантемами, но хризантемами, поставленными в вазы, которые якобы являются редчайшими шедеврами; одна из них, сделанная из бронзы, была усыпана лепестками из красноватой меди, выглядевшими совсем настоящими, будто только что упавшими с цветка⁹³. Кроме меня, здесь присутствуют доктор Котар, его жена, польский скульптор Вирадобетский⁹⁴, коллекционер Суан, знатная русская дама, княгиня с вылетевшей у меня из головы фамилией на “ов”⁹⁵, — Котар шепчет мне на ухо, что якобы это она стреляла в эрцгерцога Рудольфа⁹⁶, — по словам которой, попав в Галицию и в северную Польшу, я оказался бы в совершенно исключительной ситуации, поскольку ни одна девушка в тех краях никогда не согласится на брак, не удостоверившись в том, что ее жених является восторженным поклонником “Фостен”⁹⁷. “Вы, западные люди, не можете этого понять, — в качестве вывода бросает⁹⁸ княгиня, которая, признаться, производит на меня впечатление обладательницы выдающегося ума, — столь глубокого проникновения писателя в сокровенный мир женщины.” Мужчина с выбритыми губами и подбородком и с бакенбардами метрдотеля, снисходительным тоном и со всеми подробностями пересказывающий шуточки, отпускаемые учителем второго класса⁹⁹ во время дружеского общения со своими лучшими учениками в день св. Шарлеманя¹⁰⁰, — это Бришо, преподаватель университета. При упоминании Вердюреном моего имени он не говорит ни единого слова, которое свидетельствовало бы о его знакомстве с нашими книгами, — и тогда во мне просыпается оказывающий на меня удручающее воздействие гнев, вызванный тем заговором, который организован против нас Сорбонной и даже в дружественном по отношению к нам жилище, где меня принимают с почестями, создает атмосферу раздора, враждебности, умышленного замалчивания моих заслуг. Мы идем к столу, и сейчас же начинается исключительное в своем роде дефиле тарелок, являющихся самыми настоящими шедеврами, созданными тем самым изготовителем фарфора, с которым связаны — следует заметить, что во время изысканного застолья внимательный и получающий от этого удовольствие любитель искусства особо пристрасно прислушивается к болтовне

на художественные темы — и тарелки эпохи Юн-Чина¹⁰¹ с составленной из цветков настурции полосочкой по краю, в голубоватых тонах, с набухшими, лишенными листьев болотными ирисами, с подчеркнуто декоративным изображением стай зимородков и журавлей, пролетающих взаимно пересекающимися курсами на фоне восхода — восхода, воспроизведенного с использованием цветовой гаммы утренних тонов, удивительно напоминающих те, что ежедневно подсматривают за моим пробуждением на бульваре Монморанси; и тарелки саксонского фарфора, более капризные благодаря изяществу их фактуры, как бы пребывающие в полусонном состоянии, с анемичными розами, чей цвет приближается к фиолетовому, с бордовой разлохмаченностью тюльпана, с гвоздикой и незабудкой в стиле рококо; и тарелки севрского фарфора, тонко гильошированные¹⁰² образующими решетку белыми канелюрами, украшенные золотыми кольцами или представленной в виде галантного по своему стилю рельефа золотой лентой, завязанной узлом на кремовом фоне фарфора; и, наконец, серебряная посуда, увитая побегами мирты Люсьена, которые могла бы оценить Ля Дюбарри¹⁰³. И, вероятно, столь же редкостное явление — действительно совершенно исключительное качество того, что находится внутри: кушанья, с удивительным искусством и любовью приготовленные на медленном огне, стряпня, подобную которой, нужно прямо об этом сказать, парижанам никогда не отведавать даже на самых роскошных обедах¹⁰⁴ и которая напоминает мне творенья некоторых поварих из Жан д'Ёр¹⁰⁵. Даже фуа гра¹⁰⁶ не имеет ничего общего с безвкусной массой, обычно подаваемой под этим названием; и я не много знаю мест, где был бы так приготовлен простой картофельный салат, в котором картошка обладала бы плотностью почек, выточенных из японской слоновой кости, а цветом походила бы на потемневшие от времени маленькие костяные ложечки, с чьей помощью китайки обливают водой только что выловленную ими рыбу. Представление о дорогом украшении красного цвета, находящемся в стоящем передо мной бокале венецианского стекла, создает налитый в него совершенно необыкновенный леовиль¹⁰⁷, приобретенный у господина де Монталиве¹⁰⁸, созерцание же принесенного калкана¹⁰⁹ — не имеющего ничего общего с тем несвежим калканом, которым угощают на самых роскошных приемах и спинка которого по причине длительных стоянок во время его транспортировки воспроизводит формы его же ребер, — является развлечением для визуального воображения, а также, не побоюсь этого слова, для воображения того, что иногда называют глоткой¹¹⁰; созерцание калкана, подаваемого здесь не с клейкой пастой — сколько поваров в домах знати предлагают ее под названием белого соуса, — а с настоящим белым соусом, приготовленным на масле по пять франков за фунт; созерцание калкана, принесенного на чудесном блюде Чи-Хонга¹¹¹ — которое пересекают пурпурные лучи, исходящие от солнца, погружающегося в море, в чьих глубинах проплывает потешная группа лангустов, воспроизведенных со столь изумительно переданной пуантилистской шероховатостью, что они кажутся отлитыми по форме настоящего панциря, — и покоящегося на блюде с изображенным по внутреннему краю маленьким китайцем, поймавшим на удочку рыбку, благодаря своему голубовато-серебряному брюшку производящую впечатление очаровательного существа перламутрового цвета. Но когда я говорю Вердюрену о том, какое изысканное удовольствие должна доставлять ему столь утонченная жратва¹¹², подаваемая на коллекционных сервизах, каких в настоящее время не уви-

дишь за витринами буфетов ни у одного принца, хозяйка дома меланхолично бросает¹¹³ мне в ответ: “Совершенно ясно, что вы его не знаете”. Она говорит о своем муже как о безнадежном сумасшедшем, безразличном ко всем этим красотам: “Сумасшедший, — повторяет она, — это неоспоримо”, сумасшедший, который с большим удовольствием выпил бы бутылку сидра, вдыхая свежий, хотя и вызывающий некоторые подозрения воздух нормандской фермы. И, используя слова, действительно свидетельствующие о ее влюбленности в цветовую гамму своего края, эта очаровательная женщина с перехлестывающим через край энтузиазмом рассказывает нам о той Нормандии, в которой они жили; о Нормандии, которая могла бы стать огромным английским парком, пропитанным благоуханием ее высоких деревьев в стиле Лоуренса¹¹⁴, с бархатной криптомерией¹¹⁵, пребывающей в образованном розовыми гортензиями фарфоровом обрамлении естественных лужаек, с кажущимися помятыми желтыми розами, чьи лепестки, усыпавшие дверь крестьянского жилища с инкрустированными на ней двумя грушевыми деревьями, которые переплетены друг с другом, что напоминает какую-то вывеску, сплошь покрытую орнаментом, наводят на мысль об упавшей и живописно лежащей цветущей ветке, отлитой из бронзы и представляющей собой настенный светильник работы Гутьера¹¹⁶; о Нормандии, которую никак не ожидают увидеть именно такой приехавшие сюда на каникулы парижане и которую защищают заборы, окружающие каждый из ее *огороженных участков*¹¹⁷, — те заборы, что так и не были, как признались мне Вердюрены, установлены ими; более того, они их полностью уничтожили. К концу дня, в полудремотной приглушенности всех цветов, когда свет исходит лишь от будто створоченного, цвета голубоватой сыворотки моря (“Ну нет, это море не имеет ничего общего с тем, которое известно вам, — с какой-то одержимостью протестует моя соседка в ответ на рассказ о том, что Флобер возил нас, моего брата и меня, в Трувиль, — ничего, абсолютно ничего; вам нужно будет обязательно съездить туда со мной, без этого вы никогда его не узнаете”), они возвращались через настоящие леса из цветов, как будто изготовленных из розового тюля, — эффект, создаваемый рододендронами, — совершенно пьяные от запахов, приносимых с завода по обработке сардин и вызвавших у мужа отвратительные приступы астмы: “да, да, — настаивает она, — именно так, самые настоящие приступы астмы”. Уже на следующее лето они приехали сюда вновь, разместив целую колонию художников в восхитительном средневековом жилище, представлявшем собой старинный монастырь, снятый ими за бесценок. И, честное слово, слушая эту женщину, вращавшуюся, без сомнения, в избранных слоях общества, но при этом сохранившую в своей речи известную толику резковатой вольности, присущей говору женщины из народа, — речи, способной описывать вещи с использованием той же цветовой гаммы, в какой они предстают в вашем воображении, — я чувствую, что у меня текут слюнки от рассказа о той жизни, которую она там вела, в чем мне сейчас и исповедалась¹¹⁸: каждый трудился в своей келье, а в салон, столь просторный, что в нем размещались два камина, все приходило еще до завтрака, ради в высшей степени возвышенных бесед, прерываемых играми с фантами, что заставляет меня думать о другой жизни, воскрешаемой в памяти шедевром Дидро — “Письмами мадемуазель Волан”¹¹⁹. Позже, уже после завтрака, даже в ненастные дни, пронизанные редкими лучами солнца, все выходило из помещения под лучащийся светом ливень — ливень, омы-

вавший своими блестящими струями узловатое великолепие оснований столетних буков, которые таким образом превращались в *само прекрасное*, размещенное вдоль решетки, воплощенное в растительные формы и столь почитаемое XVIII веком¹²⁰, а также кусты, с ветвей которых вместо цветущих бутонов свисали капли дождя. Они останавливались, дабы послушать, как плещутся влюбленный в прохладу изящный налим¹²¹ или снегирь, купающийся в крошечной ванночке — будто из Нимфенбурга¹²², — которою стал для него венчик белой розы. И когда я говорю мадам Вердюрен о тамошних пейзажах и цветах, столь деликатно воспроизведенных в постелях Эльстира, она, гневно подняв голову, бросает мне в ответ: “А ведь именно я заставила его постичь это всё — всё, вы понимаете, всё, все эти любопытные уголки, все темы; когда он покинул нас, я швырнула ему это все в лицо, — не правда ли, Огюст¹²³? — все темы, на которые он писал. Всевозможные объекты он знал всегда, ради справедливости это следует признать. Но цветы он не видел никогда: не мог отличить альтею от садовой мальвы. Вы мне не поверите, но это я научила его распознавать жасмин”. Представляется довольно странным, что художник, который пишет цветы и которого любители искусства называют сегодня первым в этом жанре, превосходящим даже Фантен-Латура¹²⁴, возможно, никогда без помощи присутствующей здесь женщины не сумел бы нарисовать жасмин. “Да, честное слово, именно жасмин; все розы, созданные им, он обнаружил у меня, либо я сама приносила их ему. У нас его называли только «господин Тиш»¹²⁵; спросите у Котара, у Бришо, у всех других: воспринимали ли его здесь как великого человека? Он сам посмеялся бы над этим. Я научила его делать композиции из цветов, вначале он не мог с этим справиться. Он никогда не умел составить букет. У него не было врожденной способности делать выбор, нужно было, чтобы я сказала ему: «Нет, не рисуйте этого, оно того не стоит, рисуйте это». Ах, если бы в вопросах обустройства своей жизни он слушался нас в той же степени, что и в вопросах расположения цветов в живописном пространстве, и если бы он не решился на эту отвратительную женитьбу!”¹²⁶ Внезапно в ее лихорадочно воспаленных в силу полной поглощенности мечтой, обращенной в прошлое, глазах, в нервных подергиваниях пальцев, бесконтрольно перебирающих помпоны на рукавах блузочки, в очертаниях ее пронизанной страданиями позы¹²⁷, напоминающей превосходную картину, которая, я полагаю, так никогда и не была написана, оказалось возможным прочесть все сдерживаемое ею возмущение, всю чувствительность охваченной яростью подруги, оскорбленной в своей утонченности и истинно женском целомудрии. Кроме того, она рассказывает нам о восхитительном портрете семейства Котар¹²⁸, написанном Эльстиром для нее, — портрете, переданном ею во время ее размолвки с художником в Люксембург¹²⁹, — признаваясь при этом, что именно она подала художнику идею писать мужчину во фраке, с тем чтобы передать в высшей степени красивые складки белой ткани, и выбрала для женщины бархатное платье — платье, играющее роль визуальной опоры среди пестрой красочности ковров, цветов, фруктов и газовых, похожих на пачки танцовщиц, платьев девушек. Также якобы именно ей принадлежит идея той самой прически, все почести за которую были позже возданы художнику, — идея, в целом состоявшая в том, чтобы изобразить женщину не при полном параде, а в сокровенности ее повседневной жизни. “Я ему говорила: «Ведь в женщине,

которая не думает о том, что ее видят, когда она причесывается, вытирает полотенцем лицо, греет ноги, можно обнаружить массу интересных движений¹³⁰ — движений, отмеченных поистине леонардовской грацией».”

«Однако, заметив знак Вердюрена, который пытался показать, что выражение подобного возмущения может негативно сказаться на здоровье его жены, отличавшейся необыкновенной нервозностью, Суан пытается вызвать мое восхищение, указывая на бывшее на хозяйке дома кольцо из черного жемчуга, когда-то купленное ею совершенно белым у одного из потомков мадам де Лафайет и якобы в свое время подаренное той Генриеттой Английской, — из жемчуга, который почернел вследствие пожара, уничтожившего часть дома, где жили Вердюрены (я уж и не помню названия улицы, на которой он был расположен); после пожара был найден футляр, где и находился этот жемчуг, ставший совершенно черным¹³¹. “А мне известен их портрет: этот жемчуг покоится на плечах самой мадам де Лафайет; поэтому можно сказать совершенно определенно: да, это их портрет”, — настаивает Суан в ответ на восклицания несколько удивленных гостей, — “их подлинный портрет, находящийся в коллекции герцога Германтского.” Это коллекция, равной которой, как утверждает Суан, нет в мире и которую я должен был бы сходить посмотреть, — коллекция, унаследованная знаменитым герцогом, любимым племянником своей тетушки, мадам де Босержан¹³², — это та мадам де Босержан, сестра маркизы де Вильпаризи¹³³ и принцессы Ганноверской, которая впоследствии стала мадам де Атцфельт; бывая когда-то у нее, мой брат и я полюбили мальчугана с очаровательными чертами лица по имени Базен: ведь так на самом деле звали герцога¹³⁴. Затем доктор Котар, с утонченностью, обнаруживающей в нем человека, безусловно обладающего хорошими манерами, вновь возвращается к истории с жемчугом, объясняет нам, что подобного рода катастрофы вызывают в мозгу людей изменения, очень похожие на те, что обнаруживаются в неодушевленной материи, и ссылается — в гораздо более философичной манере, чем та, что обычно присуща врачам, — на личного камердинера мадам Вердюрен, под воздействием ужаса от этого пожара, в котором он чуть не погиб, ставшего совсем другим человеком: у него настолько изменился почерк, что первое полученное от него письмо с сообщением о происшедшем его хозяева, жившие тогда в Нормандии, восприняли как мистификацию какого-то шутника. И не только его почерк стал другим; по утверждению Котара, этот человек из трезвенника превратился в совершенно отвратительного пьяницу, из-за чего г-жа Вердюрен была вынуждена его уволить. Достаточно занудные, но все-таки вызывающие какие-то мысли разговоры, начавшиеся в столовой, по грациозному знаку хозяйки дома продолжают теперь в венецианской курительной комнате, где Котар рассказывает нам о том, что являлся свидетелем подлинного раздвоения личности, описывает в качестве примера случай с одним из своих больных и любезно предлагает привести его ко мне, добавляя, что для пробуждения его к другой жизни — жизни, проживая которую он до такой степени не помнит ничего из первой, что, оставаясь в ее лоне очень честным человеком, якобы неоднократно бывал схвачен за кражи, совершенные уже в жизни второй, в которой становился просто омерзительным негодяем, — ему будет достаточно всего лишь дотронуться до его висков. В ответ на что следует тонкое замечание г-жи Вердюрен, полагающей, что медицина могла бы обеспечить театр самыми правдоподобными сюжетами, где

смешная ситуация, зарождающаяся в лоне запутанной интриги, вырастала бы из патологического по своей сути недоразумения¹³⁵; это замечание, буквально каждым своим словом, побудило г-жу Котар начать рассказ о том, что удивительно похожая мысль содержится в сочинении одного новеллиста, которого так любят читать по вечерам ее дети, — шотландца Стивенсона¹³⁶, упоминание чьего имени становится поводом для следующего безапелляционного утверждения, исходящего из уст Суана: “Уверяю вас, г-н де Гонкур, что Стивенсон — это по-настоящему большой писатель, очень значительный, равный самым великим”. Но когда, вслед за восхищением кессонированным и украшенным гербами потолком — своим происхождением обязанным старинному палаццо Барберини¹³⁷ — того зала, где мы курим, я позволяю себе выразить сожаление по поводу стремительного почернения внутренностей находящейся в нем чаши, причиной чего является пепел наших “гаванских сигар”, а Суан рассказывает, что похожие пятна на книгах, принадлежавших Наполеону I, — книгах, обладателем которых, несмотря на свои антибонапартистские настроения, является герцог Германтский, — свидетельствуют о том, что император жевал табак, Котар, показывающий себя действительно любознательным человеком, старающимся докопаться до последних мелочей¹³⁸, заявляет, что эти пятна происходят вовсе не от этого — “в данном случае все совсем не так”, с уверенностью настаивает он: причиной в данном случае была его привычка постоянно держать в руке, даже на поле боя, лакричные конфетки, успокаивающие боли в печени. “Дело в том, что он страдал болезнью печени, от нее-то он и умер”, — заключает доктор.»

<3. Размышления о литературе и живописи по прочтении “Дневника” Гонкура>. На этом я прекратил свое чтение, ибо завтра мне нужно было уезжать; впрочем, это был час, когда наш господин — тот, на ежедневной службе у которого мы проводим половину своего времени¹³⁹, — обычно призывает меня к себе. Задание, навязываемое им, мы выполняем с закрытыми глазами. И каждое утро он возвращает нас другому нашему же господину, зная, что в ином случае нам было бы трудно в полной мере отдаваться выполнению его поручения. Наиболее хитрые из нас, вновь обретая способность к сознательному наблюдению, любопытствуют по поводу того, что же мы могли делать у господина, усыпляющего своих рабов, перед тем как поручить им срочное выполнение различных дел, и, едва лишь данное им задание оказывается исполненным, стараются исподтишка осмотреться. Однако сон борется с ними, поспешно уничтожая следы того, что они хотели бы увидеть. За столько веков мы так и не узнали ничего существенного об этом феномене.

Итак, я закрыл дневник Гонкуров. Очарование литературы! Теперь мне хотелось бы вновь повидать Котаров, расспросить их подробно об Эльстире, пойти посмотреть на лавочку *«Малый Дюнкерк»*, если та еще существует, попросить разрешения посетить особняк Вердюренов, где я когда-то обедал. При этом я испытывал смутное волнение. Конечно, я никогда не скрывал от себя своего неумения и слушать и — как только нарушалось мое одиночество — смотреть. Старая женщина не показывала мне никакого жемчужного колье, а то, что говорилось по этому поводу, не достигало моих ушей. И все-таки я был знаком с этими людьми в повседневной жизни, часто обедал вместе с ними — то были Вердюрены, герцог Германтский, Котары; каждого из них я считал столь же обыкновенным, как и моя бабушка — того самого

Базена, по поводу которого она была убеждена, что он был любимым племянником и прелестным молодым героем госпожи де Босержан, — и каждый из них казался мне бесцветным; я вспоминаю те бесчисленные пошлости, которые составляли содержание каждого из них...

И всё это слывёт светилом в небесах!¹⁴⁰

На время я решил абстрагироваться от замечаний, обнаруженных мной накануне моего отъезда из Тансонвиля на страницах «Дневника» Гонкура и способных зародить во мне антилитературные мысли. Впрочем, даже если не обращать внимания на специфическую и совершенно поразительную наивность этого мемуариста, то, рассматривая возникшую ситуацию с различных точек зрения, я мог успокаивать себя. Действительно, имея прежде всего в виду то, что относилось непосредственно ко мне, следовало признать, что моя неспособность смотреть и слушать, столь болезненным для меня образом проиллюстрированная цитируемым дневником, не была тем не менее абсолютной. Внутри меня сидел некий персонаж, все же более или менее умевший наблюдать, однако его существование было дискретным: он воспринимал жизнь, только когда демонстрировалась некая общая сущность — общая для многих вещей; она-то и составляла его пищу и доставляла ему радость. И тогда этот персонаж смотрел и слушал, не слишком, однако, углубляясь в увиденное и услышанное, что в результате не приносило пользы наблюдению. Подобно тому как перед геометром, очистившим вещи от чувственно воспринимаемых свойств, предстает лишь их одномерный субстрат, так и от меня ускользало сказанное людьми, ибо интересовало меня не то, что они хотели сказать, но то, как они это говорили, то, в какой степени их манера говорить позволяла понять их же характеры и обнаруживала присущие им смешные черты, либо, скорее, предметом моего интереса являлся объект, всегда особым образом — поскольку он доставлял мне специфическое наслаждение — становившийся целью моих поисков в силу наличия у него некоей черты, которая могла оказаться общей для разных людей¹⁴¹. Это случалось, лишь когда я замечал, что мое сознание — до тех пор дремавшее, даже несмотря на кажущуюся энергичность моей речи, чья воодушевленность скрывала от окружающих то полное духовное оцепенение, в котором я пребывал, — вдруг весело брало след; однако искомое им в такие моменты, — например, проявления самобытности салона Вердюренов в различных местах и в разное время — пребывало на значительной глубине, по ту сторону видимости, в зоне, находившейся как бы в некотором отдалении от реальности. Наглядное и достойное подражания очарование живых существ ускользало от меня потому, что я не обладал способностью удерживать на нем свое внимание, как то удается хирургу, под гладкостью женского живота умеющему разглядеть невидимую болезнь, пожирающую организм. Сколько бы я ни обедал в городе, я, по сути дела, не видел моих сотрапезников, поскольку, думая, что смотрю на них, на самом деле я их просвечивал¹⁴².

Отсюда следовало, что результатом сведения воедино тех моих наблюдений за сотрапезниками, которые за время ужина мне удавалось сделать, становилась некая зарисовка, набросанная несколькими штрихами и основанная на определенной совокупности психологических законов; при этом в ней не находилось места для лич-

ного интереса, обнаруживавшегося в речах моего собеседника. Но коль скоро я и не пытался выдавать создаваемые мной зарисовки за портреты, лишало ли это их всех мыслимых достоинств? Если кому-то в процессе создания произведения живописи удастся выявить отдельные истины, имеющие отношение к объему, освещению, движению, то приводит ли это к тому, что написанный портрет неизбежно будет уступать ничуть не похожему на него портрету того же самого персонажа, где тысяча деталей, опущенных в первом случае, воспроизведена тщательнейшим образом, то есть второму портрету, на основе которого оказывается возможным заключить, что модель была восхитительна, в то время как, увидев первый, ее было бы легко счесть уродливой, что, конечно, может иметь документальное и даже историческое значение, но художественной правдой с неизбежностью не становится¹⁴³?

Кроме того, как только мое одиночество нарушалось, присущее мне легкомыслие пробуждало во мне стремление понравиться, и я гораздо больше хотел развлекать собеседников своей болтовней, чем вбирать в себя знания, слушая других, если только мой выход в свет не имел своей целью разузнать что-либо, касающееся отдельных вопросов искусства либо неких подозрений, порожденных ревностью и ранее занимавших мои мысли. Однако я был неспособен увидеть то, интерес к чему еще не пробудился во мне благодаря чтению, то, что я еще не воплотил в собственноручно сделанном наброске, который мне захотелось бы сразу же сопоставить с реальностью. А сколько раз — то, о чем идет речь, мне было прекрасно известно, даже если бы та самая страница дневника Гонкура не открыла этого для меня, — я бывал неспособен уделить внимание вещам или людям, с тем чтобы в дальнейшем, когда каким-либо художником их изображение будет продемонстрировано мне, пребывающему в одиночестве, суметь преодолеть огромные расстояния, подвергая себя риску умереть, лишь ради того чтобы отыскать их вновь¹⁴⁴! Именно тогда мое воображение пробуждалось и начинало живописать. И как бы заранее разглядывая то, что еще в прошлом году вызывало у меня зевоту, мечтая о нем, я с тоской говорил себе: «Неужели его действительно невозможно будет увидеть? Чего я только не отдал бы за это!».

Когда читаешь разные статьи об этих людях, всего лишь принадлежащих к высшему свету, где их называют «последними представителями общества, существование которого уже не подтверждается никакими свидетельствами», безусловно, так и хочется воскликнуть: «Подумать только, что о таком незначительном существе говорят настолько пространно и отзываются с такой похвалой! Если бы я только и делал, что читал газеты и журналы, не видя самого человека, то я должен был бы глубоко переживать из-за того, что незнаком с ним!». Однако, читая на газетных страницах подобные тексты, я все-таки, скорее, был склонен думать нечто иное: «Какое несчастье, что тогда, когда я только и был озабочен тем, чтобы вновь обрести Жильберту или Альбертину, я не уделил этому господину большего внимания! Я его принимал за светского зануду, за простого фигуранта, а он, оказывается, был *фигурой*!».

Прочитанные страницы дневника Гонкура заставили меня пожалеть о сложившемся положении дел. Поскольку именно на их основании я, вероятно, и мог бы заключить, что жизнь учит принижать ценность чтения, показывая нам, что нечто, расхваливаемое писателем, стоит немногого; но с тем же успехом и исходя из тех

же соображений я мог бы сделать вывод, что чтение, напротив, учит нас давать более высокую оценку жизни, подлинную ценность которой мы не сумели понять, и что только благодаря книге мы осознаем, насколько она, эта ценность, велика. В крайнем случае мы можем утешить себя тем, что нам не слишком понравилось бы пребывание в обществе какого-нибудь Вентёйя или Бергота. Стыдливая буржуазность одного, непереносимые недостатки другого, даже претенциозная вульгарность какого-нибудь Эльстира, еще только делающего свои первые шаги (поскольку «Дневник» Гонкуров позволил мне понять, что вызывающие сильное раздражение беседы со Суаном некогда вел у Вердюренов не кто иной, как «господин Тиш»), не являются доказательствами, которые могли бы быть использованы против них, поскольку их гений проявился благодаря их творчеству. И для них — пусть это будут воспоминания, и для нас — пусть они будут неправы, придавая очарование обществу, к которому относились сами и которое нам не нравилось, — существует проблема не слишком большой значимости, поскольку, даже если дело было в заблуждении автора воспоминаний, это не могло служить доказательством, принижающим ценность жизни, которая порождает таких гениев. (Однако существует ли гений, который, еще до того как сумел обрести безупречный вкус, — а ведь именно это и произошло с Эльстиром, хотя вообще-то подобное случается очень редко, — не выработал бы столь раздражающую манеру рассуждать, которая присуща художникам, принадлежащим к той же группе, что и он? Разве, например, письма Бальзака не пестрят вульгарными оборотами, употребление коих приносило бы Суану невыносимые страдания? И тем не менее, весьма вероятно, что Суан, такой тонкий, настолько далекий от всего отвратительно нелепого, был бы не способен написать «Кузину Бетту» и «Турского священника»¹⁴⁵.)

Имея же в виду другой полюс совокупного опыта, я отмечал, что наиболее забавные анекдоты, составляющие неисчерпаемый материал «Дневника» Гонкура и способные служить вечерним развлечением для одинокого его читателя, были рассказаны автору его сотрапезниками, страстное желание познакомиться с которыми возникает у нас по мере чтения; и, хотя у меня не сохранились связанные с ними и представляющие интерес воспоминания, это не выглядело слишком уж необъяснимым. Несмотря на свою наивность, Гонкур, на основании интереса, вызванного этими анекдотами, приходивший к заключению о благовоспитанности того человека, который их рассказывал, очень хорошо умел показать, как посредственности, навидавшиеся за свою жизнь разных любопытных вещей или наслушавшиеся о них, затем в свою очередь все это пересказывали. Гонкур умел как слушать, так и видеть; я этого не умею.

Впрочем, все эти факты — один за другим — нуждаются в последовательном рассмотрении. Конечно, г-н де Германт не казался мне чарующим образцом юношеской грации, с которым так хотела познакомиться моя бабушка, в качестве неподражаемой модели предлагавшая мне его описание, данное в мемуарах г-жи де Босержан. Но тут следует иметь в виду, что Базену тогда было семь лет, что автором текста являлась его тетя и что даже те мужья, которые через несколько месяцев собираются развестись, в разговоре с вами превозносят свою жену. Одно из самых красивых стихотворений Сент-Бёва посвящено появлению у фонтана ребенка, наделенного всеми возможными достоинствами и изяществом, какое только можно себе пред-

ставить, — маленькой м-ль де Шанплатрё, которой в то время должно было быть не больше десяти лет¹⁴⁶. Однако, весьма вероятно, что, если бы, несмотря на всю нежную почтительность, испытываемую столь гениальным поэтом, каковым является графиня де Ноай¹⁴⁷, к своей свекрови, герцогине де Ноай, урожденной Шанплатрё, она собралась бы написать ее портрет, то последний достаточно явно контрастировал бы с портретом, созданным на 50 лет раньше Сент-Бёвом.

И все же, наверное, наибольшее впечатление производил разрыв, который существовал между тем, что приписывалось этим людям в разговорах о них и имело большее значение, и тем, что хранилось памятью, удерживавшей лишь какой-нибудь забавный анекдот, разрыв, не позволявший давать им оценку — что было бы вполне возможно в отношении индивидов типа Вентёйя или Бергота на основании их же сочинений, — поскольку они не занимались творчеством, но при этом, к нашему великому удивлению: ведь мы считали их посредственностями, вдохновляли тех, кто им занимался. Можно еще допустить, что, будучи экспонатом музея, какая-либо гостиная могла восприниматься как яркое выражение элегантности, присущей великой живописи, ведущей свое начало от эпохи Ренессанса; являясь же салоном скромной мещаночки — с которой я к тому же не был бы знаком, — она побудила бы меня, стоящего перед картиной, мечтать о возможности сближения с самой реальностью в надежде выведать у хозяйки этого салона драгоценные секреты искусства живописца, так и не открывшиеся мне при созерцании его холста, и считать, что пышный шлейф ее бархатного платья, украшенного кружевами, представляет собой произведение живописи, сопоставимое с самыми прекрасными работами Тициана. Если бы я когда-то понял, что кем-то вроде Бергота (современники считали, что он не такой умный, как Суан, и не столь знающий, как Бреотэ) становится не самый духовный, не самый образованный, не самый общительный человек, но тот, кто способен превратиться в зеркало и таким образом отражать собственную жизнь, пусть даже она будет вполне заурядной, мне стало бы ясно, что то же самое, только с еще большим основанием, можно было бы сказать о моделях художников. В случае пробуждения тяги к красоте у живописца, способного нарисовать все что угодно, в том числе и то, что относится к сфере элегантного, в рамках которого он может найти поистине прекрасные сюжеты, моделями для его картин будут люди, чуть более богатые, чем он, — у них он обнаружит то, что не слишком привычно для мастерской непризнанного гения, продающего свои холсты за 50 франков: гостиную с мебелью, обитой старым шелком, множество ламп, прекрасные цветы, прекрасные фрукты, прекрасные платья, — люди, относительно скромные либо кажущиеся таковыми другим, по-настоящему блестящим (и даже не имеющим представления о существовании первых), люди, которые именно по этой причине скорее могли бы быть знакомы с безвестным художником, оценить его, пригласить к себе, купить его полотна, чем те, кто принадлежат к аристократии и, подобно папе или главам государств, заказывают свои портреты у членов Академии художеств. Не будут ли последующие поколения полагать, что поэзию элегантности, связанную с уютом семейного очага и прекрасными туалетами нашего времени, скорее следует искать в салоне издателя Шарпантье¹⁴⁸, изображенного Ренуаром, чем в написанных Котом¹⁴⁹ или Шапленом портретах княгини де Саган и графини де Ларошфуко¹⁵⁰? Художники, подарившие нам наиболее значительные образцы элегантности, сводили

воедино ее разнообразные черты, заимствуя их у людей, в границах своей эпохи довольно редко являвшихся выдающимися ее выразителями и совсем не часто заказывавших свои портреты какому-нибудь неизвестному носителю прекрасного, которое им не удавалось обнаружить на его полотнах, поскольку оно оказывалось скрытым за устаревшими, но все еще использовавшимися им шаблонными формами передачи изящного, столь привычными в рамках визуального восприятия мира широкой публикой и к тому же подобными тем чисто субъективным видениям, что признаются больным человеком реальными объектами, якобы действительно находящимися перед ним. И пусть даже эти знакомые мне и столь невыразительные личности, выступавшие в роли портретируемых, все-таки могли вдохновлять, подсказывать какие-то композиционные решения, очаровывавшие меня, пусть на этих полотнах они бывали представлены не просто как модели, а в качестве друга, которого художнику очень хотелось запечатлеть на своей картине, все же следовало бы спросить себя: не показались ли бы мне с еще большим на то основанием все эти люди, — знакомство с кем мы почли бы за счастье, только потому, что Бальзак изображал их в своих произведениях или посвящал им последние в знак своего восхищения ими, и о ком Сент-Бёв или Бодлер писали свои самые прекрасные стихотворения, — все эти дамы Рекамье и Помпадур, всего лишь незначительными личностями либо по причине болезненности моей натуры — меня приводило в ярость, что из-за своей болезни я не могу вновь повидаться с теми, кого недооценивал, — либо потому, что они были обязаны своим очарованием всего лишь иллюзорной магии литературы, что принуждало меня при чтении использовать иной словарь и утешать себя тем, что по причине ухудшения моего болезненного состояния я буду вынужден со дня на день порвать с обществом, отказаться от путешествий, от посещения музеев, дабы отправиться на лечение в какой-нибудь санаторий¹⁵¹. Однако, возможно, эта обманчивая сторона жизни, этот ложный дневной свет сохраняют в нашей памяти свои следы только в том случае, когда они еще совсем свежи, а уничтожение репутаций — как интеллектуальных, так и светских — происходит необыкновенно быстро (ибо если эрудиция и пытается затем выступать против такого рода уничтожения, то разве удастся ей противостоять хотя бы одному из тысячи этих наползающих друг на друга забвений?).

* * *

<4. Светское общество Парижа в годы войны. Салон г-жи Вердюрен.>

Поскольку я, честно говоря, полностью отказался от своего намерения писать, мысли, способствовавшие как ослаблению, так и усилению моих сожалений по поводу отсутствия у меня способностей к литературе, никогда не приходили мне в голову за те долгие годы, которые я провел на лечении в расположенном далеко от Парижа санатории, где я находился вплоть до того момента, когда медицинский персонал уже оказался неспособен обеспечивать это лечение, что произошло в начале 1916 г.

И тогда я вернулся в Париж, существенно отличавшийся от того, в который я, как мы вскоре увидим, уже однажды возвращался — это было в августе 1914 г., — с тем чтобы пройти медицинский осмотр¹⁵², после чего опять вернулся в свой санаторий. В один из вечеров в самом начале моего второго пребывания в 1916 г., желая и слушать

и говорить лишь об одной вещи, интересовавшей меня в те дни, — о войне, после обеда я вышел из дому и отправился к госпоже Вердюрен, ибо она, как и госпожа Бонтан, являлась одной из королев Парижа военного времени, наводившего на мысли о Директории¹⁵³. Подобно тому что, как может показаться, под воздействием даже небольшого количества дрожжей начинается процесс самозарождения¹⁵⁴, так под влиянием чувства гражданского долга молодые женщины стали постоянно ходить в высоких цилиндрических тюрбанах, какие могла бы носить современница госпожи Тальен¹⁵⁵, будучи при этом облачены в египетские туники, прямые, темные, необыкновенно «военные» и надетые поверх очень коротких юбок¹⁵⁶, а на ногах у них были сандалии, напоминавшие котурны, введенные Тальма¹⁵⁷, или высокие гетры — подобные тем, что носили столь дорогие нам фронтовики; вели они себя так, поскольку, как сами признавались, никогда не забывали о своей обязанности радовать взоры воинов, и поэтому не только наряжались в туалеты с «нечеткими» очертаниями, но и надевали украшения, своей декоративной тематикой наводившие на мысли об армии, даже если материалы, из которых они были изготовлены, не имели к ней отношения и в армии не применялись; вместо египетских украшений, напоминавших о компании в Египте, они использовали кольца или браслеты, сделанные из фрагментов мин или артиллерийских снарядов 75-го калибра, а также зажигалки, изготовленные из двух английских монеток, которые какому-то вояке, сидевшему в своей землянке, удалось до того удачно покрыть патиной, что, казалось, профиль королевы Виктории¹⁵⁸ был начертан самим Пизанелло¹⁵⁹. Кроме того, поскольку они, по их собственному признанию, думали об этом непрестанно, облачались они — в случаях, когда погибал один из тех, кого они считали своим, — чуть ли не в траур, а под предлогом того, что он был «смешан с гордостью», позволяли себе носить, например, чепчик из белого английского крепа (производивший впечатление самого изыска и благодаря непобедимой уверенности в конечном триумфе «укреплявший надежду»), заменять время от времени кашемир сатином или шелковым муслином и даже не снимать свои жемчуга, «соблюдая при этом такт и корректность, напоминать о которых француженкам не требуется».

Лувр, как и вообще все музеи, был закрыт, и когда в заголовке газетной статьи мы читали: «Сенсационная выставка», можно было быть уверенным, что речь шла о выставке платьев, а не картин — платьев, предназначенных, впрочем, «для достижения тех утонченных радостей, которые дарует искусство и которых на протяжении долгого времени парижанки были лишены». Таким образом, элегантность и удовольствие оказались восстановленными в своих правах; однако в ситуации фактического бездействия искусств элегантность попыталась подражать их же поведению в 1793 — в том году, когда выставлявшиеся в революционном салоне художники высказывали предположение об ошибочности признания «суровыми республиканцами странным того, что в то время, когда сплотившаяся в коалицию Европа ведет осаду территории, на которой победила свобода, мы занимаемся искусствами»¹⁶⁰. Именно так в 1916 г. вели себя кутюрье, кроме всего прочего, с горделивой убежденностью художников признававшие, что «искать новизну, избегать банальностей, способствовать утверждению личности и достижению победы, специально для послевоенных поколений вырабатывать новую формулу прекрасного — в этом-то и состояли лишавшая их покоя жажда

успеха и преследуемая ими химера, что и подтверждали посещения их салонов, чье расположение на улице ... вызывало восхищение и чьим девизом являлось изгнание посредством создаваемой ими яркой и веселой атмосферы гнетущей грусти текущего момента при одновременном соблюдении налагаемой обстоятельствами сдержанности».

«Грусть текущего момента», — это было действительно так, — «могла бы подавить присущую женскому полу энергию, однако мы имеем множество примеров проявления высокого мужества и упорных размышлений. Поэтому, поразмыслив о наших воинах, сидящих в своих траншеях, мечтающих о большем комфорте и об элегантных нарядах для своих далеких возлюбленных, оставленных ими у семейного очага, не стоит ли нам отказаться от постоянного стремления придавать все большую изысканность создаваемым платьям, дабы таким образом ответить на запросы текущего момента? О новых веяниях», — понятное дело, — «следует узнавать прежде всего в английских, а значит союзнических, домах моды¹⁶¹; в этом же году все посходили с ума из-за платьев-бочек, чья непринужденная красота накладывает на нас, женщин, легкий и немного забавный отпечаток редкой исключительности. Именно это и станет одним из счастливейших последствий этой печальной войны», — добавлял необыкновенно милый хроникер (и тут все ждали, что будет сказано: «возвращение потерянных провинций, пробуждение национального чувства»), — «именно это — достижение отмеченных красотой результатов в области создания туалетов, подкрепленное умением и избегать как неуместного шика, так и неудовлетворительного качества, и использовать наименьшее количество конструктивных деталей, и создавать элегантность из ничего, — станет одним из счастливейших последствий этой войны. Платью знаменитого кутюрье, изготовленному всего в нескольких экземплярах, в данный момент предпочитают платья, пошитые на дому, поскольку именно они способствуют утверждению духа, вкуса и индивидуальных устремлений каждого»¹⁶².

Если, имея в виду милосердие, задуматься обо всех несчастьях, порожденных военным вторжением, и прежде всего — о множестве изувеченных, то было бы достаточно естественным сделать его «еще более хитроумным», что вынудило бы дам в высоких тюрбанах проводить вечерние часы за «чаем», рассевшись вокруг столика для бриджа и обсуждая новости с «фронта», в то время как у входа их будут ожидать автомобили с красавцем-военным, развалившимся на сиденье и болтающим с лакеем. В конечном счете, новыми были не только странной цилиндрической формы головные уборы, вздымавшиеся над их лицами. Такими же были и сами лица. Этими дамами в новых шляпках были молодые женщины, которые являли собой цвет элегантности и которые прибыли, одни — шесть месяцев, другие — два года, а иные — около четырех лет назад, неизвестно откуда. Впрочем, отмеченные различия имели для них столь же важное значение, что и либо три, либо четыре века документально подтвержденной древности рода — для представителей двух семейств: Германтов и Ларошфуко в те времена, когда я только стал появляться в свете. Дама, знакомая с Германтами с 1914 г., смотрела на ту, которая была им представлена лишь в 1916, как на выскочку, здороваясь с ней с видом великосветской львицы, рассматривая ее сквозь свой лорнет и с недовольной гримаской замечая, что никому даже точно не известно, замужем та или нет. «Все это достаточно отвратительно», — заключала дама 1914

года, желавшая, чтобы череда новых представлений завершалась на ней. Эти новые персонажи, которых молодые люди находили очень древними, а некоторые старики, бывавшие, впрочем, лишь в высшем свете, допускали возможным признавать не совсем уж и новенькими, предлагали обществу в качестве развлечения не только приличествующие ему политические беседы и музыку, исполняемую в интимной обстановке; и как раз нужно было, чтобы предлагали это именно они, ибо для того чтобы вещи — будь они даже древними или еще совсем не старыми — казались новыми, и в искусстве, и в медицине, и в светских отношениях требуются новые имена. (Впрочем, в некотором смысле они все же были новыми. Так, во время войны госпожа Вердюрен отправилась в Венецию; однако, подобно тем людям, которые хотят избежать разговоров об огорчениях и переживаниях, рассказывая, что это было сногшибательно, она восхищалась не Венецией, не собором св. Марка, не дворцами — всем, что мне необыкновенно нравилось и что она не ставила ни в грош, — но эффектами, создаваемыми направленными в небо прожекторами, а в своих пояснениях по их поводу опиралась на цифры¹⁶³. Таким образом, в качестве реакции на искусство, до сих пор вызывавшее восхищение, из века в век возрождается особого рода реализм.)

Название салона Сент-Эверт являлось этикеткой, утратившей новизну; оно уже не привлекло бы никого, даже если бы на приеме ожидалось присутствие самых великих артистов и наиболее влиятельных министров. И, наоборот, для того чтобы послушать речь, произносимую секретарем кого-нибудь из первых или заместителем руководителя канцелярии кого-то из вторых, все сбегались к тем самым новым дамам с тюрбанами, которые, порхая и щебеча, вторглись в Париж и заполнили его. У дам времен Первой директории была всего одна королева — молодая и прекрасная, которая звалась госпожой Тальен¹⁶⁴. У дам Второй директории их было две — старые и некрасивые, которых звали госпожа Вердюрен и госпожа Бонтан. Кто мог бы сердиться на госпожу Бонтан за то, что в деле Дрейфуса ее муж сыграл роль, подвергнувшись резкой критике в газете «Эхо Парижа»¹⁶⁵? Вся Палата в какой-то момент стала ревизионистской¹⁶⁶, и теперь именно из бывших ревизионистов и бывших социалистов приходилось формировать партию социальной направленности, религиозной терпимости и готовности к военным действиям. Когда-то господин Бонтан вызывал бы презрение, потому что антипатриоты носили тогда имя дрейфусаров. Но вскоре это имя было позабыто и заменено именем противника закона «о трех годах»¹⁶⁷. А господин Бонтан как раз и являлся одним из авторов этого закона, и, следовательно, был патриотом.

Любые новшества, присущ ли им преступный характер, или нет (данный социальный феномен представляет собой всего лишь выражение гораздо более общего психологического закона), вызывают ужас в светском обществе только в том случае, если они, сопутствуемые внушающими доверие обстоятельствами, не были восприняты им ранее. Так было и с дрейфусарством, и с женитьбой Сен-Лу на дочери Одетты — женитьбой, первоначально вызвавшей возмущение. Теперь же, когда в доме Сен-Лу видели всех тех людей, «которые были известны», Жильберта могла бы обладать нравами самой Одетты, и несмотря на это к ней все равно «ходили» бы и одобряли бы ее, даже если бы она, подобно пожилой даме из высшего света, осуждала некие моральные новшества, последним еще не усвоенные. Дрейфусарство

оказалось теперь включенным в число вещей привычных и достойных уважения. Вопросом же «чего оно стоило само по себе?» никто и не задавался; во всяком случае о том, следует ли его признавать, сейчас задумывались не больше, чем когда-то о том, следует ли его осуждать. Оно больше не являлось *shocking*. А только это и требовалось. С трудом припоминали, чем же оно было раньше, подобно тому как спустя какое-то время не помнят, был ли отец этой молодой девушки вором, или нет. На худой конец можно заметить: «Нет, вы говорите о его свояке или однофамильце. Но о нем самом никогда нельзя было сказать ничего плохого». Точно так же, конечно же, существовали дрейфусарство и дрейфусарство, и тот, кто посещал салон герцогини де Монморанси¹⁶⁸ и способствовал прохождению «закона трех лет», просто не мог быть плохим человеком. Как бы то ни было, да будет прощен любой грех. И то забвение, которому было предано дрейфусарство, *еще в большей степени* относилось к дрейфусарам. Впрочем, в политике их больше не было, поскольку в какой-то момент ими были все, желавшие продемонстрировать свою поддержку правительству, даже занимавшие позицию, которая была противоположна той, что выражала дрейфусарство в его шокирующей новизне (это происходило в то же время, когда Сен-Лу проявлял свои дурные наклонности) — с его антипатриотизмом, безрелигиозностью, анархией и тому подобным. Поэтому дрейфусарство господина Бонтана, невидимое и основательное, похожее на дрейфусарство всех политических деятелей, было заметно не более, чем кости под кожей. И никто не вспоминал, что он был дрейфусаром, поскольку светские люди рассеянны и забывчивы, но также и потому, что после этого прошло уже довольно много времени, а все предпочитали думать, что и того больше, ибо одна из наиболее модных идей, высказывавшихся тогда, состояла в том, что довоенное время было отделено от войны чем-то казавшимся столь же объемным, что и какой-нибудь геологический период, которому это что-то могло быть уподоблено по своей продолжительности¹⁶⁹; даже сам Бришо, этот националист, имея в виду дело Дрейфуса, говаривал: «В те доисторические времена».

(По правде сказать, глубина изменения, вызванного войной, оказалась обратной пропорциональна силе затронутых им умов, по крайней мере начиная с определенного их уровня. Пребывавшие в самом низу полные глупцы — исключительные потребители удовольствий — вообще не интересовались тем, что шла война. Находившиеся же на самом верху — те, чья внутренняя жизнь была связана с окружающей средой, — уделяли не слишком большое внимание значимости происходящих событий¹⁷⁰. То, что фундаментально модифицирует строй их мышления, — это, скорее всего, нечто, само по себе кажущееся лишенным всякого значения, но опрокидывающее привычное для них течение времени и тем самым превращающее их в современников совсем иного периода собственной жизни. Ведь на практике легко можно убедиться в красоте страниц, вдохновленных этим нечто: достаточно очевидно, что пение птицы в парке Монбуастье или легкий ветер, приносящий запах резеды, являются событиями, сопровождающимися минимальными последствиями по сравнению с теми, что были связаны с наиболее значительными датами истории Революции и Империи. Между тем именно первые вдохновили Шатобриана на написание в «Замогильных записках» ряда страниц, обладающих бесконечной ценностью¹⁷¹.) Те же самые люди, которые были бы поражены и возмущены, если бы им сказали, что через несколько веков, а,

возможно, и ранее, слово «бош», подобно словам «санкюлот», «шуан» или «синий»¹⁷², вероятно, будет вызывать лишь любопытство, утверждали, что слова «дрейфусар» и «антидрейфусар» больше не имеют смысла.

Г-н Бонтан и слышать не хотел никаких разговоров о мире, прежде чем Германия не будет приведена в состояние той же раздробленности, что и в Средние века, падение дома Гогенцоллернов не станет свершившимся фактом, а Вильгельм II¹⁷³ не получит в свою шкуру двенадцать пуль. Одним словом, он был тем, кого Бришо называл «допределист»¹⁷⁴, а это было наиубедительнейшим свидетельством наличия гражданской доблести, каким тот мог бы быть удостоен. Безусловно, первые три дня г-жа Бонтан чувствовала себя немного не в своей тарелке, находясь в окружении тех, кто просили г-жу Вердюрен познакомить их с ней, а когда она — то ли по причине полной неосведомленности и отсутствия у нее какой-либо ассоциативной связи между именем «Оссонвиль» и любым титулом, то ли, напротив, благодаря чрезмерной осведомленности и возникавшей у нее ассоциации с «партией герцогов»¹⁷⁵, рассказывая о которой ей сообщили, что господин д'Оссонвиль был членом Академии, — сказала г-же Вердюрен: «Вы только что представили мне конечно же герцога д'Оссонвиля», та слегка раздраженным тоном ответила: «Графа, моя дорогая».

Однако начиная с четвертого дня она все основательнее стала осваиваться в повседневной жизни Сен-Жерменского предместья. Иной раз вокруг нее еще встречались непонятные обломки того мира, о котором ничего не было известно, но при этом они вызывали отнюдь не большее удивление, чем осколки скорлупы, рассыпанные вокруг цыпленка; и этими обломками были те, кто знали, из какого яйца вылупилась сама г-жа Бонтан¹⁷⁶. Но к пятнадцатому дню она полностью избавилась от них, и когда, еще до завершения первого месяца, говорила: «Я иду к Леви», все, даже без ее уточнений, понимали, что речь шла о семействе Леви-Мирпуа; в этом случае ни одна герцогиня не легла бы спать, не разузнав у г-жи Бонтан или г-жи Вердюрен, по крайней мере по телефону, то, о чем говорилось в вечернем коммюнике и что там было опущено, как обстоят дела с Грецией¹⁷⁷ и какое наступление готовится, — одним словом, все то, о чем широкая публика могла бы узнать только завтра либо и того позже и что она сама, таким образом, воспринимала как некое подобие репетиции в костюмах¹⁷⁸. Сообщая в ходе своих бесед новости и имея в виду Францию, г-жа Вердюрен употребляла «мы». «Так вот, мы требуем от короля Греции, чтобы он оставил Пелопоннес и т. д., мы ему посылаем и т. д.» И во всех ее рассказах всегда присутствовала аббревиатура SGK¹⁷⁹ («я позвонила в SGK»); произнося эту аббревиатуру, она испытывала такое же удовольствие, что и те женщины, которые, говоря в недавнем прошлом о принце д'Агрижант, но не будучи знакомы с ним, дабы показать свою осведомленность в связи с текущими событиями, с улыбкой спрашивали: «Гри-Гри¹⁸⁰?», — удовольствие, в эпохи не слишком беспокойные испытываемое только светскими людьми¹⁸¹, а в периоды крупных потрясений становившееся знакомым и простому народу. Например, если разговор шел о короле Греции, то благодаря газетам наш метрдотель вполне мог, подобно Вильгельму II, спросить: «Тино¹⁸²?», в то время как до сих пор фамильярность, с какой он придумывал прозвища королям, носила более грубый характер: так, говоря о короле Испании, он некогда именовал его «Фонфонс»¹⁸³. В то же время можно

было заметить, что по мере увеличения числа блестящих людей, которые делали авансы г-же Вердюрен, количество тех, кого она называла «вызывающими скуку», уменьшалось. И в результате какого-то магического превращения все «вызывающие скуку», наносившие ей визиты и настойчиво просившие приглашения внезапно становились приятными и умными. Короче, за один год число вызывающих скуку настолько сократилось, что такие чувства, как «страх перед скукой и необходимость противостоять ей»¹⁸⁴, которые занимали достаточно большое место в беседах и играли довольно значительную роль в жизни г-жи Вердюрен, исчезли почти полностью. Можно было бы предположить, что необходимость противостоять скуке на склоне лет (впрочем, по ее собственным уверениям, она не испытывала ее и в своей ранней молодости) позволяла ей меньше страдать, подобно тому как по мере нашего старения какие-нибудь мигрени или нервные по своему происхождению виды астмы утрачивают свою силу. И нет никакого сомнения в том, что в силу отсутствия тех, кто вызывал скуку, страх перед ней полностью покинул бы г-жу Вердюрен, если бы она не заменила, пусть и в незначительной степени, не вызывавших скуку другими, рекрутированными из числа признанных ранее верными¹⁸⁵.

Впрочем — дабы тем самым завершить разговор о герцогинях, которые в настоящее время посещали г-жу Вердюрен, — все они приходили туда, ни в коей мере не испытывая сомнений, точно за тем же, за чем в прошлом приходили дрейфусары, а именно за светскими удовольствиями, смакование которых благодаря их содержанию утоляло политическое любопытство и удовлетворяло потребность в комментировании друг другу происшествий, описываемых в газетах. Г-жа Вердюрен говорила: «Приходите в 5 часов поговорить о войне» точно так же, как прежде предлагала «поговорить о процессе»¹⁸⁶, а в промежутке между прошлым и настоящим приглашала: «Приходите послушать Мореля».

А ведь Морель не должен был бы там быть по той причине, что он не был освобожден от воинской повинности. Просто он не явился по месту предписания и стал дезертиром, но об этом никто не знал.

С одной стороны, всё происходившее оставалось до такой степени привычным, что употребление тех же слов, что и раньше, — «благонамеренный, неблагонамеренный» — воспринималось как нечто вполне естественное. Но поскольку все это, с другой стороны, выглядело все-таки по-иному, наиболее видные дрейфусары, имевшие поддержку генералов, которые во времена процесса выступали против Галифе¹⁸⁷, подобно бывшим коммунарам, ставшим антиревизионистами, желали расстреливать всех подряд¹⁸⁸. На такие собрания г-жа Вердюрен приглашала некоторых из недавно появившихся в свете дам, известных своим участием в благотворительных акциях и в первые свои посещения являвшихся в столь ослепительных туалетах, украшенных массивными жемчужными колье, что Одетта, также имевшая очень красивое кольцо подобного типа и несколько злоупотреблявшая его демонстрацией, но теперь, в подражание дамам из предместья носившая «одежду военного времени», бросала на них строгие взгляды. Однако в конечном итоге эти женщины сумели приспособиться. В свое третье или четвертое посещение они начинали понимать, что туалеты, признаваемые ими великолепными, были запрещены именно теми, кто этим великолепием как раз и отличались, и, подчинившись требованию простоты, отказывались от своих расшитых золотом платьев.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга I. Текст: Марсель Пруст. *Время, обретенное вновь*

1. Тансонвиль. Робер и Жильберта	5
2. ««Дневник» Гонкура»	15
3. Размышления о литературе и живописи по прочтении ««Дневника» Гонкура»	21
4. Светское общество Парижа в годы войны. Салон г-жи Вердюрен	26
5. Военный Париж ночью. Размышления о Робере и идеале мужественности	35
6. Наблюдения рассказчика за Франсуазой и метрдотелем	47
7. Письма Жильберты и Робера. Последний визит де Сен-Лу к рассказчику	49
8. Прогулка по ночному Парижу. Размышления рассказчика об отношении светского общества к де Шарлю и о салоне г-жи Вердюрен	58
9. О германофильстве барона де Шарлю	67
10. Прогулка по ночному Парижу. Рассуждения де Шарлю о текущем моменте	71
11. Два отступления, посвященные г-же де Форшвиль и отношению г-жи Вердюрен к Бришо	78
12. Прогулка по ночному Парижу. Рассуждения де Шарлю о текущем моменте (окончание). Де Шарлю и Морель	82
13. Дом свиданий. Наблюдения рассказчика за де Шарлю и беседа с Жюльеном	95
14. Воспоминания о Сен-Лу в связи с его смертью	119
15. Возвращение в Париж и встреча с больным де Шарлю	129
16. Размышления рассказчика в библиотеке принца Германтского: феномен «мадленки» и рождение литературного замысла	138
17. «Бал голов»	180
18. Размышления рассказчика о современном ему светском обществе. Беседы со старыми знакомыми	206
19. Неудавшееся чаепитие у Берма и выступление Рашели у принцессы Германтской	239
20. Беседа рассказчика с герцогиней де Германт и триумф Рашели	246
21. Беседа рассказчика с герцогиней де Германт (окончание)	255
22. «Таинственные нити» в жизни и задачи, стоящие перед писателем	265

Книга II. Контекст: комментарии и приложения

<i>Часть I. Примечания к тексту романа</i>	282
<i>Часть II. Апокия К. З. Обретение утраченного времени: смыслы и средства. Комментарии к переводу романа Марселя Пруста (в форме послесловия)</i>	441
<i>Часть III. Приложения</i>	498
<i>Пруст М. <Одетта была любовницей Котара> Набросок</i>	498
<i>Пруст М. Я небосвод своих воспоминаний созерцаю часто</i>	502
<i>Ален. Марсель Пруст</i>	503
<i>Ален. Ложные боги</i>	506
<i>Беккет С. Пруст</i>	509
Примечания и комментарии	545
О переводчике	598